

Н. Долинина

2. Быть может, в лете не потонет Строфа, слагаемая мной...

Первая глава — это свободный разговор поэта с читателем, разговор дружеский, неторопливый, откровенный — с воспоминаниями, отклонениями от первоначальной темы, с шутками и намеками... Пушкин все время стоит рядом с героем, иногда заслоняя его, иногда ненадолго скрываясь, но с первой до последней строфы он здесь, перед нами.

Вторая глава — совсем другая. Она удивительно компактна, сжата. В ее сорока строфах рассказано о многих жизнях, об огромных человеческих проблемах, обо всей помещицкой деревенской жизни пушкинской поры, но сам Пушкин очень редко обращается к читателю, почти не показывается ему.

Пушкин оставил нам план романа с точным указанием, когда и где написана каждая глава, и с названиями глав, которые в этом плане именуются по-старинному «песнями». Первая песня называется у Пушкина «Хандра»: речь в ней идет о разочаровании, о тоске Онегина. И эпиграф соответствует пушкинскому названию главы: «И жить торопится, и чувствовать спешит...». Эта строчка сразу заставляет читателя задуматься о судьбе героя. Вторую песнь Пушкин называет «Поэт». Значит, для него главный герой главы — Ленский. А эпиграф говорит совсем о другом.

Странный эпиграф у второй главы: «O rus! — Гораций. — O Русь». По-латыни «rus» значит деревня. Казалось бы, Пушкина просто забавляет занятное совпадение: по-латыни — деревня, а по-русски — Русь. Так похоже! Но если вдуматься, станет понятно, что восклицание «O Русь!» — горькое, даже трагическое; что русская деревня совсем не вызывает у поэта сладкого умиления.

Но примемся, наконец, читать главу.

Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок...

Прелестный? Для кого? Мы же помним, что Онегину «два... казались новы уединенные поля», а «на третий... его не занимали боле». Значит, это не онегинское восприятие деревни: «прелестный уголок»! И действительно, в следующих строчках мы видим:

Там друг невинных наслаждений
Благословить бы небо мог.

Мы только что говорили, что Пушкина не видно на страницах второй главы. Но он, оказывается, здесь, хоть его и не сразу замечаешь: он не выступает на первый план, но мы видим «деревню, где скучал Евгений», не онегинскими, а пушкинскими глазами. Что это за деревня? Она очень похожа Михайловское:

Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали села; здесь и там
Стада бродили по лугам,
И сени расширял густые
Огромный запущенный сад,
Приют задумчивых дриад.

Работая в Одессе над второй главой, Пушкин еще не знал, что скоро — не пройдет и года — он вынужден будет поселиться в этом «прелестном уголке», сосланный, поднадзорный. Но он уже давно знал, что русская деревня далеко не так прекрасна, как

кажется непосвященному взору. Еще в 1819 году, приехав в Михайловское во второй раз в жизни, двадцатилетний Пушкин увидел не только прелесть русской природы:

...Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества губительный позор.
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца...

(«Деревня». 1819)

Вот эти страшные контрасты русской деревни XIX века сохранились в уме и сердце поэта. Не случайно уже в первой строфе слышна еле заметная ирония — когда Пушкин говорит о «прелестном уголке». Чем дальше описывает он деревню, тем слышнее ирония. Дом дядюшки Онегина назван «почтенным замком», хотя обставлен он весьма скромно: «два шкафа, стол, диван пуховый...» Слово «замок» вызывает мысли о феодале, которому подчинены безропотные вассалы, о несправедливости, царящей там, где властвует «барство дикое».

Прочтя всего две строфы, читатель начинает понимать горечь эпитафии: «О Русь!» Тяжело мыслящему, благородному человеку жить на Руси в пушкинскую эпоху.

Следующая, третья строфа рассказывает о жизни дяди Онегина, который

Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.

В двух строчках — целая жизнь, и какой невыразимой скукой повеяло от этой жизни: сорок лет без дела в глухой деревне!

О дяде Онегина не случайно рассказано именно здесь: попав в деревню, Евгений имеет полную возможность повторить дядину жизнь — что же ему еще остается делать, как не браниться с ключницей и смотреть в окно? Но Онегин на такое не способен.

Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил.

Среди умных, образованных, прогрессивно мыслящих людей, знакомых Пушкину, был Николай Иванович Тургенев. Еще в 1818 году его брат Александр Иванович писал другу Пушкина поэту Вяземскому:

«Брат возвратился из деревни и тебе кланяется. Он привел там в действие либерализм свой: уничтожил барщину и посадил на оброк мужиков наших, уменьшил через то доходы наши. Но поступил справедливо, следовательно, и согласно с нашею пользою».

Братья Тургеневы были не одиноки в своем либерализме. Мы знаем многих будущих декабристов, стремившихся облегчить положение крестьян, — даже в ущерб себе. Пушкин явно сочувствует и своим друзьям, и своему герою. Недаром он находит такое резкое, страшное слово — «раб». Но Пушкин знает и другое:

Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед;
Другой лукаво улынулся,

И в голос все решили так,
Что он опаснейший чужак.

Тот же Н.И. Тургенев пишет по этому поводу в своем дневнике:

«Со всех сторон все на нас вооружились, одержимые хамобесием... о нас разумеет эта публика как о людях опасных, о якобинцах».

Трудно Онегину в деревне — потому трудно, что он умнее, честнее тех людей, которые окружают его. И ему эти люди постыли, и он им враждебен; они злословят о нем:

«Сосед наш неуч; сумасбродит;
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
Все *да*, да *нет*; не скажет *да-с*
Иль *нет-с*». Таков был общий глас.

Эти обвинения нам знакомы: «Шампанское стаканами тянул. — Бутылками-с, и пре- большими. — Нет-с, бочками сороковыми». Так рассуждали о Чацком гости Фамусова. В «Горе от ума» глухая старуха графиня-бабушка не услышала ни звука того, что ей рассказал Загорецкий о Чацком, но слова нашла такие же, как соседи Онегина: «Что? К фармазонам в клуб? Пошел он в бусурманы?» Мы хорошо знаем еще одного «фармазона»: это Пьер Безухов из «Войны и мира». Он ведь одно время увлекался обществом франк-масонов (полуграмотные помещики исказили это слово и получилось: фармазоны). Сам Пушкин во время южной ссылки примыкал к кишиневской масонской организации. Среди масонов было немало передовых людей, будущих декабристов, потому их так ненавидели гости Фамусова и соседи Онегина.

Читая первую главу, мы сравнивали Онегина с Пушкиным, Чаадаевым, Кавериним — с умнейшими, выдающимися людьми своей эпохи. Евгений не таков, как эти люди, ему недоступны их знания, их таланты, их умение понимать жизнь, действовать. Но он много выше среднего человека своего круга — в этом мы убеждаемся, читая вторую главу. И этого-то не прощает ему его круг.

За неделю до того, как вчерне закончить вторую главу, Пушкин писал А.И. Тургеневу:

«... Я на досуге пишу новую поэму Евгений Онегин, где захлебываюсь желчью».

За месяц до этого, в разгар работы над второй главой, Пушкин пишет в другом письме — П.А. Вяземскому:

«...О печати и думать нечего, пишу спустя рукава. Цензура наша так своенравна, что с нею невозможно и измерить круга своего действия — лучше об ней и не думать».

Эти письма были написаны одновременно со второй главой. Даже те пять строф, которые мы уже прочли, вовсе не безобидны. Онегин ввел в своей деревне новые порядки, «чтоб только время проводить», но в глазах соседей он тем не менее не просто «чужак», а «опаснейший», да еще и не единственный в своем роде: так, как он, вел себя не один молодой дворянин, и это вызывало ненависть мира Молчалиных и Загорецких. А Пушкин, как будто бы и не показываясь на страницах романа, на самом деле явно симпатизирует Онегину и «захлебывается желчью» при мысли о его недоброжелателях.

Какими бы ни были разными Пушкин и Онегин, они из одного лагеря, их объединяет недовольство тем, как устроена российская действительность. Умный, насмешливый, зоркий Пушкин первой главы остался таким же и во второй, но теперь читатель узнал о нем больше. Перед нами — гражданин, человек, неравнодушный к судьбе своей страны; ссыльный поэт продолжает думать и действовать — так, как действуют поэты — словом. Короткий рассказ о жизни Онегина в деревне включает в себе мысли и наблюдения, близкие к мыслям и наблюдениям декабристов.

Когда на сцене появляется Ленский, мы знакомимся с еще одним типом русского молодого человека пушкинской поры.

...С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный...

В Геттингенском университете в Германии воспитывалось немало русских юношей — и все они были известны своими вольнолюбивыми мечтами». «Дух пылкий и довольно странный» был у другого «поклонника Канта и поэта» — Кюхельбекера, того самого Кюхли, которого так дразнил в детстве и так любил всю жизнь Пушкин.

С Ленским в музыку пушкинских стихов врывается совсем новая мелодия — трогательно-нежная и немножко насмешливая.

От хЛадного разврата света
Еще УвянУть не Успев,
Его дУша быЛа согрета
Приветом дрУга, Лаской дев...

Вся седьмая строфа построена на повторении звуков

Он сердцем милЫй быЛ невежда,
Его ЛеЛеяЛа надежда...

И слова-то какие: увянуть, душа, лаской, милый, лелеяла!

Когда Пушкин в «Полтаве» описывает бой, у него звучат Ж Р, Ш: «швед, русский колет, рубит, режет...» Во вступлении к «Медному всаднику» слышен пир: «шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой» (Ш-П-П-П-Ш-П). А Ленского сопровождает мягкая, негромкая музыка: нежные, возвышенные слова, плавные звуки Л-У создают ощущение легкой грусти, заставляют полюбить Ленского и даже проникнуться ему жалостью, хотя оснований для жалости пока нет.

И Пушкин любит молодого поэта — нет сомнений. Но все-таки что-то настораживает в первых же строфах, посвященных Ленскому:

...Он сердцем милый был невежда...
...Цель жизни нашей для него
Была заманчивой загадкой,
Над ней он голову ломал И чудеса подозревал.

Вдруг среди таких возвышенных поэтических слов простые и даже грубоватые: «невежда», хоть и «милый»; «голову ломал»! Более того: те высокие идеалы, которым верит, которым поклоняется Ленский, Пушкин называет «чудесами»! И дальше снова — с тем же повторением звука «Л» Пушкин рассказывает о стихах Ленского:

Он пеЛ разЛуку и печаль,
И нечто, и туманну даль,
И романтические розы;
Он пеЛ те дальние страны,
Где долГо в Лоно тишины
ЛиЛись его живые слезы;
Он пеЛ поблекЛый жизни цвет
Без малОго в осьмнадцать Лет.

Вот эти две последние строчки — при всей их мелодичности — уже не просто настораживают нас, а приоткрывают пушкинское отношение к Ленскому: любовно-ироническое. Наивный, восторженный мальчик воспекает «поблеклый жизни цвет» — увяданье. И это — «без малого в осьмнадцать лет».

В возрасте Ленского и Пушкин писал очень грустные стихи:

Встречаюсь я с семнадцатой весной...
Моя стезя печальна и темна...
Вся жизнь моя — печальный мрак ненастья...

(«Послание Горчакову».)

Печаль, слезы, разлука, тоска, разочарование — излюбленные темы поэтов-романтиков, а юный Пушкин был романтиком. Кюхельбекер вспоминал в 1824 году:

«С семнадцати лет у нас начинают рассказывать про свою отцветшую молодость».

Но мы знаем: лично Пушкину такое восприятие жизни не свойственно. Он отдал дань общему увлечению разочарованностью — и преодолел это увлечение, как преодолел романтизм. В 1824 году Вяземский писал поэту-романтику А.А. Бестужеву:

«Смотрите на Пушкина! И его грызет червь, но все-таки жизнь выбрасывает из него отпрыски цветущие. В других этого не вижу: ими овладевает маразм...»

Работая над «Евгением Онегиным», Пушкин не только отошел от романтизма, но и понял его слабости — отсюда ироническое отношение к Ленскому. Но, с другой стороны, разочарованность юного поэта ведь отражает его недовольство окружающим миром, и это нравится Пушкину в Ленском; он любит в нем свою юность — потому Ленский вызывает не только его улыбку, но и сочувствие.

Ленский наивен, не знает жизни, но Онегину, конечно, интереснее с ним, чем с остальными соседями, которые «благоразумно» беседуют

О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне, —

в этом коротком перечне — полная картина их бессмысленной, тупой жизни. И Пушкин — тот самый Пушкин, который только что говорил о Ленском с мягкой, доброжелательной улыбкой, о соседях Онегина говорит с настоящей злостью и настоящим презрением:

Все дочек прочили своих
За *полурусского соседа*...
...Зовут соседа к самовару,
А Дуня разливает чай,
Ей шепчут: «Дуня, примечай!»
Потом приносят и гитару:
И запищит она (бог мой!)
Приди в чертог ко мне златой!..

Итак, Онегин и Ленский подружились. Но они ведь такие разные:

...Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.

Подружились они потому, что все остальные совсем уж не подходили для дружбы, потому что каждый скучал в своей деревне, не имея никаких серьезных занятий, никакого настоящего дела, потому что жизнь обоих, в сущности, ничем не заполнена.

Так люди (первый каюсь я)
От *делать нечего* друзья.

Это «первый каюсь я» — характерно для Пушкина. Да, и в его жизни были такие дружеские отношения — от *делать нечего* — в которых пришлось потом горько каяться: с Федором Толстым — «Американцем», тем самым, о котором Репетиллов у Грибоедова говорит: «В Камчатку сослан был, вернулся алеутом, и крепко на руку нечист; да умный человек не может быть не плутом». Быть может, Пушкин, когда писал эти строки, думал и об Александре Раевском, своем «демоине», — много горя принес ему этот друг.

Большинство людей вовсе не склонно признавать свои заблуждения, в особенности когда речь идет о человеческих отношениях. В разладе любовном, дружеском всегда хочется обвинить другого и оправдать себя. Пушкин не делает этого: за тремя словами, стоящими в скобках, скрыто большое мужество, хотя сказаны эти слова шутливо. Каяться в своих ошибках неприятно, но как иначе понять и самого себя, и других?

Для Пушкина дружба — не только одна из главных радостей жизни, но и долг, обязанность. Он умеет относиться к дружбе и друзьям всерьез, ответственно, умеет думать о человеческих отношениях, и мысли его далеко не всегда веселы. В строфе XIV второй главы он с горечью размышляет:

Но дружбы нет и той меж нами.
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.

Прежде всего, кто это — «мы»? Онегин? Ленский? Сам Пушкин? Или — люди вообще? Попробуем начать рассуждать со второго четверостишия: «Мы все глядим в Наполеоны...»

Мировая слава, завоеванная за какие-нибудь тринадцать лет безвестным корсиканцем Бонапарте; фантастический путь от капрала до императора, пройденный Наполеоном, — все это вскружило головы многим молодым людям — и во Франции, и в России. Герой романа Стендаля «Красное и черное» Жюльен Сорель мечтает вслед за Наполеоном пройти столь же блестящий путь. Андрей Болконский на поле Аустерлица ждет «своего Тулона» — того мгновенья, когда он сможет совершить подвиг, спасти русскую армию и прославиться. Из седьмой главы мы узнаем, что и в кабинете Евгения стоял «столбик с куклою чугуной под шляпой, с пасмурным челом, с руками, сжатыми крестом», — модная тогда статуэтка Наполеона.

Наполеон привлекал молодых людей не только своим головокружительным успехом. В нем видели яркую, выдающуюся личность, которая сумела доказать всему миру свою силу и величие. С именем Наполеона стали связывать и такие философские проблемы, которые на самом деле не имели к нему отношения.

Русский молодой человек Родион Раскольников, живший гораздо позже Наполеона, поставил перед собой вопрос: имеет ли он право убить одинокую старуху, чтобы завладеть ее богатством? Исходил он при этом из такого положения: старуха наживается на своем богатстве, приносит людям вред. Он же, Раскольников, сможет использовать эти деньги, чтобы выучиться и приносить людям пользу. Значит, убийство старухи не преступление; цель, которую поставил перед собой Раскольников, оправдывает любые средства для достижения этой цели, даже убийство человека. Так рассуждал Родион Раскольников, герой романа Достоевского «Преступление и наказание». Оправдывая свой поступок, он размышлял о Наполеоне: ведь ему же история простила множество погибших на войне во имя великих целей, которые ставил перед собой Наполеон.

Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно...

Пушкин не разделял такой философии: «цель оправдывает средства». Он помнил лекции своего любимого лицейского профессора Куницына:

«Человек имеет право на все деяния и состояния, при которых свобода других людей по общему закону разума сохранена быть может... Не употребляй других людей как средство для своих целей...»

Человеку свойственно эгоистическое чувство своего превосходства над окружающими. Но Пушкин рано научился преодолевать в себе это чувство. Когда он говорит:

Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя... —

«мы» означает у него то поколение, к которому он принадлежал, то поколение, достоинства и недостатки которого воплотились в Онегине.

Но ведь Онегин, Ленский и тем более Пушкин — все они действительно выше окружающих людей. Так, может быть, каждый из них имел право считать себя единицей, а остальных — нулями? И тогда на самом деле исключительные, выдающиеся личности имеют право жертвовать интересами и судьбами рядовых людей во имя своих великих целей?

Эта теория приобрела немало сторонников и привела человечество к многим трагедиям — даже в двадцатом веке. В сущности, на ней строились «идеи» фашистов, дымили трубы Майданека и Освенцима: тысячи «нулей» были обречены теми, кто считал себя «единицами»!

С нашей точки зрения приравнивать человека к нулю безнравственно. Никого нельзя считать нулем: ни себя, ни другого. Все люди — личности, все — единицы, каждый — неповторимое чудо.

Пушкин уже в свою эпоху понимал это, Онегин — нет. Пушкин говорит о нем: «Сноснее многих был Евгений...» — многих людей света. Но, не умея уважать другого, как себя, не умея нести ответственность за свои отношения с людьми, он не мог найти себе настоящих друзей — таких, какими были для Пушкина Дельвиг, Кюхельбекер, Пушкин, Жуковский, Вяземский, Плетнев...

Но вернемся к роману. Итак, Онегин и Ленский сблизились, и Евгений даже терпеливо выслушивал «юный жар и юный бред» суждений Ленского. Круг их разговоров серьезен, это не пустая болтовня:

Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою череду,
Все подвергалось их суду.

Это — темы разговоров мыслящих людей. Те же проблемы обсуждались будущими декабристами: читался «Общественный договор» французского просветителя Жан-Жака Руссо; решались задачи практического применения наук в сельском хозяйстве; о «добре и зле» сам Пушкин много говорил с Раевским, а в лицейские годы — с Кюхельбекером. В 1821 году Пушкин записал в своем дневнике:

«Утро провел я с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова... Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч.»

Вполне может быть, что и с Пестелем Пушкин беседовал о добре и зле, что их занимали «предрассудки вековые и гроба тайны роковые». В черновике у Пушкина вместо слов «судьба и жизнь» было написано «царей судьба» — значит, и политические разговоры могли вести Онегин с Ленским.

Следовательно, оба они умны и образованны, но каждому из них недостает очень важных человеческих качеств. Каких же? Об этом мы еще будем говорить.

Наивный, искренний Ленский не умел и не хотел скрывать свои чувства:

Евгений без труда узнал
Его любви младую повесть,
Обильный чувствами рассказ,
Давно не новыми для нас.

Что значит «давно не новыми для нас»? Настоящее чувство всегда ново, всегда неповторимо. А вот чувства Ленского «не новы», и в описании его любви нас опять настораживает та чуть насмешливая интонация, которую мы уже заметили, когда впервые познакомились с Ленским:

Ах, он любил, как в наши лета
Уже не любят...

В строфах XX–XXIII, описывающих любовь Ленского, опять возникает та же мелодия: длинные, нежные, романтические слова: «мечтанье», «печаль», «разлука», «девственным», «плененный», «умиленный», «дубравы», «ландыш», «восторгов», «цевницы», «игры золотые»... И, наконец:

Он роци полюбил густые,
Уединенье, тишину,
И ночь, и звезды, и луну...

Не очень веришь любви Ленского, когда видишь, какими романтическими атрибутами она непременно должна сопровождаться. И думается: может, Ленский любит не столько Ольгу, сколько все это окружение: «и ночь, и звезды, и луну»?

Но вот перед нами сама Ольга.

Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела...
...Глаза как небо голубые,
Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голос, легкий стан...

Как выглядит Онегин? Какие у него глаза, волосы, какого он роста? Пушкин не нарисовал его портрета, да и о Ленском мы знаем одну только деталь: «кудри черные до плеч». И дальше — познакомившись с Татьяной — мы ничего не узнаем о ее внешности: не это важно Пушкину. И в Онегине, и в Татьяне, и в Ленском важно другое: их духовный облик, мечты, страдания, мысли. А Ольга выписана так подробно: глаза, локоны, улыбка, легкий стан — и так привычно! Чтобы читатель не заблуждался, Пушкин и сам подчеркивает эту привычность, банальность внешности Ольги:

Все в Ольге... но любой роман
Возьмите и найдете верно
Ее портрет: он очень мил,
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно.

Такая, как все! Самая обыкновенная провинциальная барышня — и на нее, оказывается, обращены все вздохи, все восторги, все мечты. Ей посвящаются стихи, ей отдана «неземная» любовь Ленского — естественно, что у нас возникает сомнение: да знает ли Владимир Ленский свою избранницу? И — если знает — как же любит?

А главное, здесь же, рядом, бродит по лесам, мечтает, думает совсем другая девушка.

Ее сестра звалась Татьяна...

Сам Пушкин делает такое примечание к этой строчке:

«Сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например: Агафон, Филат, Федора, Фекла и проч., употребляются у нас только между простолюдинами».

И поясняет в следующих строчках:

Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим...

Нам странно представить себе, что в эпоху до «Евгения Онегина» это имя звучало совершенно так же, как теперь Матрена, Марфа, Прасковья, Лукерья, Фекла...

...с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей!..

Это Пушкин сделал нам подарок — одно из самых красивых женских имен. Дело, значит, не в имени, а в том, кто его носит, — ведь и фамилии Пушкин, Глинка, Толстой показались бы нам смешными, если бы не были прежде всего великими. Так же имена. Назвал Пушкин свою героиню Татьяна — и вот уже полтора века мы восхищаемся ее именем, даем его своим дочерям, влюбляемся в девушек, названных Татьянами...

Татьяне посвящены четыре строфы — в трех из них бросается в глаза настойчивое повторение частиц НЕ и НИ:

НИ красотой сестры своей,
НИ свежестью ее румяной
НЕ привлекла б она очей...
...Она ласкаться НЕ умела
К отцу, НИ к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать НЕ хотела...

И дальше: «ее изнеженные пальцы НЕ знали игл», «узором шелковым она НЕ оживляла полотно», «куклы... Татьяна в руки НЕ брала», «в горелки НЕ играла»...

Пушкин рассказывает не столько о том, какой была Татьяна, сколько о том, какой она не была: обычной. Если «все в Ольге... но любой роман возьмите» и т. д., то в Татьяне свое, все необычное, не похожа она ни на девиц из романов, ни на ту Дуню, что «разливает чай» и пищит: «Приди в чертог ко мне золотой!», ни на свою сестрицу Ольгу и ее подруг.

...страшные рассказы
Зимою в темноте ночей
Пленяли больше сердце ей...
...Она любила на балконе
Предупреждать зари восход...
...Ей рано нравились романы... —

и все, что мы пока знаем о привычках, вкусах, интересах Татьяны. Этого, казалось бы, совсем мало, но Пушкин пишет ей очень серьезно, без улыбки, как о Ленском; без сожаления, как об Онегине, — и это настраивает нас на уважение к героине.

Но как только Пушкин переходит к родителям Татьяны и Ольги, возникает усмешка:

Отец ее был добрый малый,
В прошедшем веке запоздалый;
Но в книгах не видал вреда;
Он, не читая никогда,
Их почитал пустой игрушкой...

Убийственная строчка: «в прошедшем веке запоздалый»! Достойный сосед дядюшки Онегина, единственным чтением которого был «календарь осьмого года» (а действие происходит в 1821-м!).

Вся история матери Татьяны и Ольги, описанная Пушкиным подробно, хотя и коротко, грустна именно потому, что обыкновенна. Была романтическая девица, «писывала кровью она в альбомы нежных дев»... Не «писала» — писать можно и один раз, — а «писывала», то есть не раз, значит, проделывала это романтическое действие; «звала Полиною Прасковью... корсет носила очень узкий», а книг не читала: слышала о модном тогда английском писателе Ричардсоне и его герое Грандисоне от своей московской кузины! И влюблена была очень возвышенно в романтического юношу, который на самом деле

...был славный франт,
Игрок и гвардии сержант.

Невольно вспоминается Ленский с его неземной любовью к такому земному созданию! Мать Татьяны и Ольги быстро преодолела свою любовь к «Грандисону»: ее выдали замуж за другого, а она «привыкла и довольна стала». Может, и любовь Ленского так же быстротечна?

Привычка свыше нам дана:
Замена счастию она, —

грустно замечает Пушкин. К сожалению, это правда. Привычка определяет многое в жизни человека, иногда лишая его жизнь всяких духовных интересов, поисков, страстей... Так и Ларина силой привычки превратилась из возвышенного создания в чрезвычайно практически — чтоб не сказать низменную — особу:

Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы...

Обыкновенная барышня стала обыкновенной барыней — волне закономерное превращение! И дочь ее Ольга спокойно может повторить путь своей маменьки. А вот дочь Татьяна — не сможет, мы уже почувствовали это, хотя знаем о Татьяне совсем мало.

Пушкин грустно и насмешливо смотрит на стариков Лариных: они ведь добрые, в сущности, люди, а как тускло и ко живут! «Привычки милой старины», царствующие в доме Лариных, приятны поэту:

У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод...

Но эта размеренная, спокойная жизнь по раз навсегда установленным традициям не освящена мыслью, делом; она бесполезна и потому страшна. А ведь отец Татьяны Дмитрий Ларин тоже не всегда был «простым и добрым барином»: в молодости он участвовал в русско-турецкой войне, заслужил чин бригадира и медаль за взятие Очакова — об этой медали вспоминает Ленский, посетив могилу старого Ларина.

Куда же все-таки уходят поиски, метания, стремления молодости, когда приближается старость? И неужели неизбежно вот это превращение юного, страстного, деятельного человека в слишком уж спокойного, медлительно доживающего свой век обывателя? Неужели привычка сильнее всех бурных сил, живущих в человеческой душе?

Ученик и последователь Пушкина Николай Васильевич Гоголь написал в шестой главе «Мертвых душ», в ужасе остановившись перед обратившимся в «прореху на человечестве» Плюшкиным:

«Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их дороге, не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно!»

Нет, нельзя поддаваться привычке, надо нести с собой в зрелые и старые годы бодрость и дух молодости — об этом невозможно не думать, читая о судьбе отца и матери Татьяны.

Кладбище, на котором похоронен Дмитрий Ларин, естественно, вызывает у Ленского грустные размышления. И вот тут впервые на всем протяжении главы перед читателем открыто появляется сам Пушкин. Сначала он как будто подхватывает грустные мысли Ленского:

Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...

Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время...

Пушкин пишет эти строки, когда ему вот-вот исполнится двадцать пять лет: еще, казалось бы, рано задумываться о смерти, о смене поколений, об уходе из жизни. Но Пушкин был мудр даже в молодости, он умел такое подарить людям, что дух захватывает и жить хочется:

Придет, придет и наше время.
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!

В добрый час! Через семь лет, в трудные годы, после смерти Дельвига, Пушкин напишет в письме Плетневу:

«Хандра хуже холеры — одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, погоди — умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата. Мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья. Дочь у тебя будет расти, вырастет невестой. Мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята. Вздор, душа моя. Не хандри — холера на днях пройдет. Были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы».

Это, может быть, самое трудное умение, какого способен достичь человек: не раздражаться на молодость за то, что она молода, а радоваться и любоваться ею. Находить радость в каждом возрасте, который приходит к человеку. Называть добрым тот час, когда придется уйти из жизни, — потому что останутся другие люди, наступит их черед мечтать, любить, горевать, бороться, страдать — жить. Этим умением обладал Пушкин — он по-дарил, оставил его нам. А ему хотелось, чтобы мы его помнили:

Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить...
...Быть можот (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет,
И молвит: то-то был поэт!

Даже об этих серьезных, может быть, самых серьезных своих мыслях он говорит легко, с улыбкой, немножко насмешливо, избегая высокопарности, торжественных слов, подшучивая над самим собой. Ему хотелось, чтобы мы его помнили, но он не желал остаться в нашей памяти классиком, «стариком» — он пишет об этом с иронией, но в то же время с благодарностью думает о тех, кто его не забудет:

Прими ж мои благодаренья,
Поклонник мирных аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!